

В. Г. Белинский

Ледяной дом. Сочинение

И. И. Лажечникова...

Басурман. Сочинение И....



Виссарион Григорьевич Белинский Ледяной дом. Сочинение И. И. Лажечникова... Басурман. Сочинение И. Лажечникова

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2828665*

Аннотация

«...говоря о г. Лажечникове как о первом русском романисте, мы отнюдь не имеем в виду писателей повестей, но только одних романистов, и отнюдь не видим в нем идеала романистов, но только лучшего русского романиста. Мы не будем сравнивать его с Вальтер Скоттом и Купером, потому что можно, и не тягаясь с этими двумя вековыми исполинами-художниками, быть примечательным романистом вообще и первым, то есть лучшим во всякой литературе, кроме английской...»

Содержание

Примечания

37

**Виссарион Григорьевич
Белинский**
**Ледяной дом. Сочинение
И. И. Лажечникова...**
**Басурман. Сочинение
И. Лажечникова**

*ЛЕДЯНОЙ ДОМ. Сочинение И. И. Лажечникова.
Москва. 1835–1838. Четыре части.*

*БАСУРМАН. Сочинение И. Лажечникова.
Москва. 1838. Четыре части.*

Вот уже третий роман¹ издан г. Лажечниковым, – и слава его растет все более и более. Общий голос утвердил за ним почетное титло *первого* русского романиста, и добросовестная критика, чуждая личных отношений и литературного пристрастия, всегда подтвердит приговор публики, если только она – добросовестная критика. Разумеется, это первенство, по сущности своей, есть относительное, хотя, по хронологии истории нашей литературы, и безусловное. Мы

¹ Третий роман – «Басурман». До него были изданы «Последний Новик, или Завоевание Лифляндии в царствование Петра Великого» (М., 1831; переиздание – М., 1833) и «Ледяной дом» (М., 1835; переиздание – М., 1838).

хотим этим сказать, что, говоря о г. Лажечникове как о первом русском романисте, мы отнюдь не имеем в виду писателей повестей, но только одних романистов, и отнюдь не видим в нем идеала романистов, но только лучшего русского романиста. Мы не будем сравнивать его с Вальтер Скоттом и Купером, потому что можно, и не тягаясь с этими двумя вековыми исполинами-художниками, быть примечательным романистом вообще и первым, то есть лучшим во всякой литературе, кроме английской. Мы не будем также говорить с лукавою ирониею, что романы г. Лажечникова лучше романов Евгения Сю, Виктора Гюго, Бальзака и прочих, потому что если бы его романы были не только хуже, но даже не были бы лучше романов этих корифеев беспутной французской литературы, то мы не почли бы их слишком завидным приобретением для русской литературы и не стали бы о них много хлопотать. Еще менее намерены мы, выписавши из романов г. Лажечникова несколько изысканных выражений или вычурных фраз, которых они в самом деле очень не чужды, изречь ему грозный приговор или – что еще хуже – побранивши его за недостатки, похвалить за достоинства, как учитель бранит и хвалит своего ученика за ученическую задачу, пополам с грехом оконченную². От последней проделки с нашей стороны г. Лажечникова защищает его огромная

² Намек на рецензию Н. Полевого на второе издание «Ледяного дома» («Сын отечества», 1838, № 10, отд. IV, с. 69–70), которую Белинский называет ниже «коротенькой библиографической статейкой».

известность и громкий авторитет у публики, а еще более одно, по-видимому, маленькое, но в самом-то деле очень важное обстоятельство, а именно: мы сами не пишем романов, и г. Лажечников не перебивает у нас дороги. Вот если бы мы вздумали написать или (все равно!) дописать какой-нибудь роман, что-нибудь вроде Евгения Сю, примиренного с Августом Лафонтеном, и в этом романе вывели бы героем какого-нибудь недопеченного поэта³, который «хочет заняться чем-нибудь высоким» и жалуется, что «светская чернь его не понимает»⁴, бранит гражданское устройство, которое мешает без актов и записей жениться, одним словом, презирает бедную землю, на которой если забудешь дней пяток поест, то непременно умрешь, и смотрит заживо на небо, где нет ни форм, ни обрядов... О, тогда плохо бы пришлось от нас г. Лажечникову: мы умели бы его отделать в коротенькой библиографической статейке... Но чего нет, о том нечего и говорить, и так как нам ничто не мешает наслаждаться прекрасным поэтическим талантом г. Лажечникова и ценить его, то и приступим к делу, – назовем хорошее хорошим, а дурное дурным; за первое от души поблагодарим автора, а

³ Поэта-мечтателя Вильгельма Рейхенбаха вывел в своем романе «Аббаддонна» Н. Полевой. Роман вышел из печати в 1834 г., эпилог романа печатался в «Сыне отечества» (1838, № 7 и 10).

⁴ Ср. слова из письма Хлестакова Тряпичкину в первом издании «Ревизора» Гоголя (СПб., 1836): «Я сам по примеру твоему хочу заняться литературой. Скучно, братец, так жить: ищешь пищи для души, а светская чернь тебя не понимает. Хочется, наконец, чем-нибудь эдаким высоким заняться» (д. V, явл. 8).

за второе от души извиним его, ради первого.

В самом деле, при оценке романов г. Лажечникова главный и первый труд должен состоять в отделении достоинств от недостатков. Нам скажут: да в этом-то и состоит задача всякой критики. Не будем возражать на подобное возражение: у нас понятия о критике совсем другие, но мы пока побережем их про себя, потому что излишняя отчетливость повела бы нас слишком далеко и отбила бы от предмета. И потому *пока* мы условимся, что дело критики есть отделение красот от недостатков в произведении искусства, а мерка при этом химическом процессе – личное ощущение критика. Дюпен издал карту народного просвещения Франции, оттенив колоритом отношения образованности в различных департаментах, то есть самые образованные департаменты означив светлую краскою, а невежественные – темною⁵. Вот такую карту желаем мы составить из нашей критической статьи для романов г. Лажечникова. Пусть всякий поверяет наше мнение собственным своим мнением.

Еще не успели мы забыть удовольствия, которым насладились при чтении «Ледяного дома», вышедшего в 1835 году, как взялись, кажется, за третье, если не за четвертое чте-

⁵ О статье и карте Шарля Дюпена Белинский узнал, очевидно, из письма А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 23 (11) декабря 1826 г., напечатанного в «Московском телеграфе», 1827, ч. XIII, № 1, отд. I, с. 93. Тургенев писал Вяземскому, что в парижском журнале «Le Globe» «подавно была статья о *темной и светлой* или просвещенной Франции... К ней приложена и карта, иллюминированная по просвещению» (далее идет описание карты).

ние этого романа, по случаю второго его издания в конце прошлого года, – и прочли его еще с большим удовольствием, нежели в первый раз: лица, которые начали уже, от времени, представляться нашим глазам под какими-то туманными дымками, снова ожили перед нами, и мы радушно и весело встретились с старыми знакомцами и нашли их так же интересными, милыми и любезными, как и в пору первого знакомства; прекрасные ощущения, которые, от времени, уже начинали терять свою предметность и повторялись в душе нашей, как напевы какой-то забытой, но прекрасной песни, вновь воскресли в ней, живые, свежие, могучие, и снова взволновали ее своими очаровательными потрясениями... И однако ж – странное дело! – при последнем чтении роман доставил нам несравненно большее наслаждение, чем при первом; но при первом чтении мы ставили его гораздо выше, давали ему гораздо большее значение, большую цену, нежели какие даем ему теперь... Помню, как мучил меня этот «Ледяной дом», как какая-то неразгаданная загадка, как сбирался я тогда написать о нем огромную статью, а в ней тепло, живо и увлекательно раскрыть все его красоты, и как – не мог написать ни строки... Тяжесть подвига подавляла силы... По крайней мере так казалось мне *тогда*...⁶ Помню, что больше

⁶ На первое издание «Ледяного дома» Белинский откликнулся коротенькой заметкой (Белинский, АН СССР, т. I, с. 238–239), в которой сообщал о своем намерении посвятить роману обстоятельную статью; намерение это он осуществил только при выходе второго издания (может быть, поэтому Белинский в названии данной рецензии при «Ледяном доме» поставил двойную дату: «1835–1838»).

всего меня затрудняла и мучила *двойственность* романа: то представлялся он мне выше всего, что можно себе представить в этом роде, то я не видел в нем почти ничего... Первое, ощущение оправдывалось моим сознанием, которому я не верил, как дьявольскому наваждению, и упрекал себя в нем, как в грехе... Странно, а понятно: только тогда можно вполне насладиться литературным произведением, когда поставишь его на свое место и не будешь требовать от него ни больше, ни меньше того, что оно может дать; так точно можно ужиться со всяким человеком, если только поймешь его на его месте и будешь требовать от него ни больше, ни меньше того, что можно и должно от него требовать. Какая истинная и в то же время простая мысль, а между тем как трудно и как не скоро понимается она!..

Не будем излагать содержания «Ледяного дома»: оно и без того всякому образованному читателю знакомо и перезнакомо, но поговорим о лицах, образующих своими соотношениями его драму. Герой – Волынский. Как историческое лицо он и теперь еще загадка. Одни видят в нем героя, мученика за правду; другие отрицают в нем не только патриота, но и порядочного человека. Но мы оставим *исторического* Волынского – нам до него нет дела: мы пишем не об истории, а о романе. Тут представляется другой вопрос: имеет ли право поэт исказить историческое лицо? *Да и нет*, отвечаем мы. Да будет проклят, кто бы нанес святотатственную руку на искажение Петра Великого и умышленно осмелился бы сде-

лать уродливого карлу из великана человечества; но анахронизмы, искажение событий, вследствие требований ткани и механизма романа, – но только без искажения идеи лица, – могут казаться непозволительными или преступными только, вникающему рассудку, а не живому эстетическому чувству. Что же касается до сомнительных или неважных исторических лиц, то и говорить нечего: в произведении искусства должно искать соблюдения художественной, а не исторической истины. Что за важность, что Шиллер из Карлоса, непокорного сына и дурного человека, сделал идеал возвышенного, благородного человека? Худо не это, а то, что его драма есть произведение риторики, а ее лица – риторические аллегории, а не живые создания. Что нам за нужда, что Гете из восьмидесятилетнего старика Эгмонта, отца многочисленного семейства, сделал молодого, кипящего избытком жизни юношу? Он хотел изобразить не Эгмонта, а кипящего избытком душевных сил юношу в положении Эгмонта. История услужила ему только «поэтическим положением», а главное дело в том, что его драма – великое произведение великого художника. Кто хочет знать историю, тот учись ей не по романам и драмам. Поэтому для нас смешны нападки некоторых Аристархов на г. Лажечникова, что он снял десятка два или три лет с плеч Волынского (добро бы еще исказил исторический характер!). Что же такое Волынский Лажечникова? – Это человек глубокий, могучий духом, пламенный патриот, душа чистая, благородная, но легкий, вет-

ренный; тонкий политик и мальчик, не умеющий совладеть с самим собою; государственный муж – и волокита, гуляка праздный. Соединение таких противоположностей в одном человеке очень возможно, – и задача творчества именно в том и состоит, чтобы эти противоположности не бросались в глаза читателю, но составляли бы одно целое, слитое. Характер Волынского у г. Лажечникова очерчен местами очень удачно, но местами он двоится. Это произошло, сколько мы понимаем, совсем не оттого, чтобы у автора не достало таланта, но от нравственной точки зрения, с которой он смотрит на человека. То, что в Волынском было игранием жизни, широким размахом души, с бешеным восторгом и безграничным упоением отзывавшейся на зов оболстительницы-жизни, – на то автор смотрел глазами Ментора, как на слабости, на заблуждения, и как будто бы сам колебался во мнении о герое своего романа. От этого любовь Волынского к Мариориде далеко не возбуждает в читателе того участия, какое бы она должна была возбуждать. Вы смотрите на нее, как на школьническую шалость взрослого человека. Мы очень понимаем, что любовь к Мариориде Волынского, женатого на прекрасной, страстно любящей его и прежде нежно любимой им женщине, должна была тревожить его, как преступление, и, доставляя ему минуты высочайшего, упоительного блаженства, давать ему лютые минуты вникания в себя; скажем больше – Волынский был бы существо чисто безнравственное, неспособное возбудить участия к себе, если бы он

не чувствовал своей вины перед женою и не страдал от ее сознания. Где любовь, там нет эгоизма, а где нет эгоизма, там всегда есть сознание своей вины, хотя бы и невольной, перед другими; любящее сердце страдает за всех, а тем больше за тех, кого оно само заставило страдать; *безнравственность* только там, где нет любви. Итак, мы нападаем на автора не за то, что его герой чувствует свою вину перед женою, но за то, что он сознает свою вину как бы не сам, не своею волею, а по приказу автора. Всякое лицо, созданное поэтом, должно быть для него предметом (объектом), совершенно ему внешним, и задача автора состоит в том, чтобы представить этот предмет (объект) как можно вернее, соответственнее ему, то есть самому предмету (объекту), что и называется *объективным* изображением, то есть таким, в которое автор не вносит ничего своего – ни понятий, ни чувств. Но пока довольно о Волынском. Мы еще обратимся к нему.

Второе – самое лучшее – лицо в романе есть Мариорица. Дитя пламенного юга, дочь цыганки, питомица гарема, дивный цветок востока, расцветший для неги, упоения чувств и перенесенный на хладный север, – эта Мариорица, по идее, чудное создание. Несколько типических черт, еще два-три взмаха художнического резца – и это был бы один из драгоценнейших перлов в сокровищнице нашей литературы. Но не дивная красота, не роскошь и нега движений, не молния черных глаз, зовущих к наслаждению и восторгам, составляют ароматическое благоухание этого пышного цвета восточ-

ных стран; но... да нет! – мы лучше словами самого автора опишем вам пленительную Мариорицу.

От христианской веры, в которой она родилась, остались у ней тайные понятия и золотой крест на груди. Каким образом этот крест попал к ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла ее из пожара, когда горел отцовский дом, строго наказывала ей никогда не покидать святого знамения Христа и, как она говорила, благословения отцовского. Эта самая женщина продала ее хотинскому паше. Француженка (учительница Мариорицы в гареме паши), узнав, что Мариорица родилась христианкою, старалась беседами на языке, непонятном для черных стражей, ознакомить ученицу свою с главными догматами своей веры. От этого учения и гаремного воспитания ее сочетались в душе Мариорицы, пламенной, мечтательной, и фатализм магометанский и мистицизм православия, так что в небе, созданном ею, обитали и чистейшие духи и обольстительные девы пророка, а на земле все действия человека подчинялись предопределению⁷.

Читателям знакома эта обворожительная Мариорица, знакома им и ее чудная судьба. Дочь цыганки и молдаванского князя, она воспитывалась сперва в цыганском таборе, потом подкинута была своею матерью к своему отцу, а наконец была продана ею хотинскому паше, который берет ее в пода-

⁷ Цитируется ч. I, с. 12–13; на последующих страницах статьи Белинский цитирует: ч. I, с. 91, 169, ч. III, с. 165, ч. II, с. 123–124, ч. III, с. 161–162.

рок султану, ничего не щадил для ее воспитания, любовался ею, сдерживая желания дряхлой старческой души, сносил ее прихоти, свойственные женщине и избалованному ребенку вместе. По взятии Хотина Минином она попала пленницей знаменитому вождю, а им была подарена государыне Анне Ивановне, которая любовалась ею, как игрушкой, и любила ее, как дочь. Фатализм был источником любви Мариорицы к Волынскому – прекрасная, поэтическая мысль, которая могла родиться только в прекрасной, поэтической душе... Года за два до ее плена, когда русские вели с турками переговоры в Немирове, старый паша говорил в шутку Мариорице, что он уступит ее русскому послу Волынскому, о котором слава прошла тогда до Хотина. Надобно было, чтобы этот самый Волынский, ловкий, статный, красивый, с черными кудрями, рассыпающимися по плечам, с пронзающими взорами, первый из мужчин встретил ее по приезде ее в Петербург.

При имени Волынского княжна затрепетала. Фатализм, которым она с малолетства была напитана, сказал ей, что это самый *тот*, неизбежный ею, суженный ей роком, что она введена с пепелища отцовского дома в Хотин и оттуда в страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что еще при рождении назначено ей любить русского, именно Волынского.

Так говорит автор, и мы очень жалеем, что вслед за эти-

ми простыми, но много заключающими в себе словами он, увлекшись духом прошлого века, прибавляет о каком-то рецепте любви, прописанном маленьким доктором в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами. . .

К Волынскому на святках под видом друзей забрались переряженные враги; между ними был изменник, который шепнул ему о проделке. Лихой, разгульный Волынский шепнул слугам отослать их кучеров, отпотчевал дорогих гостей дорогими винами, посадил на свои сани и велел слугам отвезти их на Волково поле там бросить, а сам, наряженный кучером, повез оттуда брата Бирона и, пристыженного, униженного, ссадил его у дворца, давши ему этим добрый урок шутить осторожнее. Потом Волынский два раза проехал мимо дворца, где жила его Мариорица. Вдруг слышит голоса – это девушки; одна спрашивает его: «Как тебя зовут, дружок?» Волынский задрожал от звуков этого голоса и снявши шапку, отвечал: «Артемием, сударыня!» – «Артемий! – смеясь, закричали девушки, – какое дурное имя!» – «Неправда! оно мне нравится!» – подхватила княжна. А Волынский? – Лихой ямщик, он вздохнул, надел шапку набекрень и, тронув шагом лошадей, затянул приятным голосом:

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей и милый друг идет.
«Ты постой, постой, красавица моя!
Еще дай ты насмотреться на себя.
На твою, радость, прекрасну красоту;

Красота твоя с ума меня свела;
Сокрушила добра молодца меня!»

Это природа чисто русская, это русский барин, русский вельможа старых времен!.. Вообще вся эта глава (VII) – одно из лучших мест романа и не испортила бы никакого и ничьего романа.

Итак, Мариорица уже успела перенять русские святочные обычаи, они понравились ее пылкому, суеверному воображению... Проезжий ямщик назвался Артемием – новая причина любить Артемия Петровича Волынского, новое доказательство, что она рождена для него, обречена ему роком!.. Фатализм чудесит!..

Как же любила она его?

Вот что писала она к нему в одном из писем своих:

Я вся твоя! Имей сто жен, сто любовниц – я твоя, ближе, чем кора при дереве, растенье при земле. Делай из меня что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и – бросить!.. Я создана на это; мне это определено при рождении моем.

Она любила его, как восточная женщина, любила его, как существо высшее и, как о недостижимом блаженстве, мечтала быть его рабою, служить его прихотям, безропотно повиноваться его воле...

А он? – он не любил, он был только увлечен ею на вре-

мя, это чувство было для него не вся жизнь с ее радостями и страданиями, не вся судьба, а мгновенная вспышка, прихоть сердца, играние жизни... Автор называет его *любовь чувственной*.

Здесь мы рады придаться к случаю, чтобы сказать, что мы решительно не верим ни *идеальной*, ни *чувственной* любви. Та и другая существует, но обе они ложны, как две противоположные крайности, две противоположные отвлеченности. Так называемая *идеальная* любовь есть палочка, на которой ездят верхом школьники, воображая, что они скачут на богатырском коне; это своего рода донкихотство. Так называемая *чувственная* любовь есть удел животных с человеческим образом. Но всякое чувство, что бы оно ни было – любовь или увлечение, мгновенная прихоть сердца, – но если только оно волнует душу сладким восторгом и растворяет ее трепетным ощущением таинства жизни, если оно возбуждено созерцанием идеи абсолютной красоты в живом образе, – это чувство уже любовь, а не чувственность. Всякая любовь есть одухотворенная чувственность; любовь одна, но степени ее бесконечно разнообразны, и с каждой степенью изменяется ее характер, а степени ее состоят в постепенном большем и большем проникновении чувственности духовным просветлением. Есть люди, которые от всей души убеждены, что красота возбуждает чувственность: бедные не понимают, что красота есть явление духа и что где красота родит любовь, там уже нет чувственности. Для животных кра-

сота не существует – это составляет одно из преимуществ человека над животными. *Только* красота не составляет условия любви, но без красоты любовь невозможна.

Характер Мариорицы обрисован удачнее всех прочих. Это решительно лучшее лицо во всем романе. Она нигде не изменяет себе. Она сходит со сцены, как вошла на нее: как звезда любви, которая ярче и прекраснее всех небесных светил – и вечером, когда является, и утром, когда скрывается. Последнее ее свидание с Волынским было апотеозом всей ее жизни, и мы решительно отрицаем всякое человеческое, не только эстетическое чувство в том, кто бы, увлеченный сухим, как арифметика, морализмом, увидел в последнем мгновении ее жизни падение, а не просветление, не торжественное свершение подвига жизни... Словом, Мариорица есть самый красивый, самый душистый цветок в поэтическом венке нашего даровитого романиста.

После этих двух лиц с особенною любовью и старанием обрисовано лицо цыганки Мариуллы, матери Мариорицы. По нашему мнению, это лицо так же дурно, как хороша Мариорица. Автор хотел олицетворить идею матери; но ведь олицетворить значит – отвлеченную идею воплотить в образ, а этого-то и не сделал автор: его цыганка-мать осталась отвлеченною идеею. Все, что ни говорит она, ни чувствует, все это нисколько не сообразно ни с ее званием, ни с ее положением, а главное – ничему этому как-то не верится. Изуродование лица крепкою водкою, чем автор хотел показать об-

разец самоотвержения и высокой любви матери, возбуждает не участие, а отвращение. Вообще, эта цыганка есть лицо совершенно лишнее, которое не помогает ходу романа, а только путает и затрудняет его. Без нее роман был бы короче, сжатее и лучше. Ее слуга и товарищ, цыган Василий, несравненно лучше, но тоже совершенно лишнее лицо в романе. То же думаем мы и о лекарке, ее дочери, и о всей IV главе второй части. Конечно, все это характеризует Петербург тогдашнего времени; но подобные характеристики должны выходить из хода романа, из сущности дела, и автор не имеет права прибегать для них к натяжкам.

Теперь о других лицах. Превосходно обрисован Остерман, сын бедного немецкого пастуха, в молодости своей студент Енского университета, повеса и волокита, а потом сподвижник великого преобразователя России, вице-канцлер, дипломат, интриган. Он играет в романе роль менее, чем второстепенную, но где ни является, везде является живым лицом, и это лицо одно из лучших созданий нашего поэта.

Бирон в романе везде верен самому себе и тоже принадлежит к удачным изображениям автора; но это лицо только слегка очерчено карандашом, и по прочтении романа для читателя остается загадкой и исторический и романический Бирон. Что он такое, этот человек, из курляндского конюха преобразившийся в курляндского герцога? – Не будем обвинять его, тем более что и его *благородный* соперник, патриот Волынский – остается еще загадкой (мы говорим это в

историческом значении). Клеветы Бирона очерчены очень удовлетворительно; жаль только, что всем им автор придал и рыжие волосы и рты до ушей. Злодейство и порок безобразны, но только не в таком смысле. Один художник нарисовал дьявола красавцем, но сам сошел с ума, взглядевшись в ужасное безобразие этой красоты.

В числе действующих лиц мы встречаем двух шутов – Кульковского и ТрEDIAKовского. Оба они были бы прекрасно изображены, если бы автор не сердился на них и не выказывал к ним своего отвращения и презрения. Повторяем: поэт не судья, а свидетель, и свидетель беспристрастный. Он говорит: так было, а хорошо или худо – не мое дело! Для него все люди и хороши и интересны, он всеми любит, всех любит, и любит их такими, каковы они есть. Так натуралист не брезгует никакою гадиною, равно дорожит чучелою отвратительной лягушки, как и чучелою милovidного голубя. Как хорош у г. Лажечникова этот ТрEDIAKовский – его образ выражения, манеры – словом, все превосходно; но насмешки автора над педантом разрушают все очарование. Моральная точка зрения на жизнь и поэтический взгляд на нее – это вода и огонь, взаимно себя уничтожающие. Бесспорно, ТрEDIAKовский был душонка низенькая: образцовая бездарность, соединенная с чудовищными претензиями на генияльность, необходимо предполагают в человеке или глупца, или подлеца⁸. Но загляните в «Ревизора» Гоголя: дивный художник

⁸ Суждения Белинского о В. К. ТрEDIAKовском, конечно, односторонни; они

не сердится ни на кого из своих оригиналов, сквозь грубые черты их невежества и лихоимства он умел выказать и какую-то доброту, по крайней мере в некоторых. Загляните в его дивную «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», посмотрите, с какою любовью описал он этих чудаков, с каким сожалением расстался он с ними, а между тем и нисколько не прикрасил, но показал их совершенно «в натуре».

Подачкин и матушка его, «барская барыня», изображены превосходно.

Эйхлер и Зуда рисуются на первом плане романа. По идее оба превосходны, но исполнением нельзя удовлетвориться. Сонтли, долговязый и чем-то особенно *странный* Эйхлер еще мерещится в глазах ваших и после прочтения романа; но с тех пор как срывает с себя маску притворства, – он теряет всякую личность. Зуда с трудом помнится даже и при чтении романа.

Из соучастников Волынского особенно хорош Щурхов: никогда не забудете вы этого милого, благородного чудака, в его фуфайке из сине-полосатого тика и в красном шелковом колпаке, окруженного четырьмя польскими собаками, мешающего в печи кочергою уголья и беседующего с своим слугою, дядькою и наставником вместе.

Заклучим наше суждение о романе общим взглядом на

объясняются недостаточной в то время исследованностью биографии и творчества этого писателя.

него. Он разделен на главы, которые можно разделить на три разряда: главы, написанные превосходно; главы, в которых золото перемешано с большим количеством руды, и главы, состоящие из одной руды, разве с несколькими блестками золота. К последним принадлежат без исключения все те, в которых выходит на сцену цыганка Мариулла: натянутость положений и фразистость выражения составляют их отличительное свойство. Главы второго разряда ознаменованы участием Зуды, любовью Волынского и некоторыми растянутостями. Главы первого разряда суть те, в которых является Волынский как противник Бирона, потом все, где является сама императрица. Таковы следующие главы: «Смотр», «Ледяная статуя», «Переряженные», «Западня», «Сцена на Неве», «С переднего и с заднего крыльца», «Соперники», «Во дворце», «Ледяной дом», «Родины козы», «Любовь поверенная», «Удар». Не менее прекрасны, хотя и в другом значении, и следующие: «Фатализм», «Педант», «Обезьяна герцогова», «Куда ветер подует», «Свадьба шута» и «Ночное свидание». Но «Ледяная статуя», «Соперники», «Родины козы» и «Ночное свидание» – выше всяких похвал. Читая главы, которые так резко отличаются от исчисленных нами, и видя, с какою нерешительностию, как бы ошупью, идет этот талант, – невольно изумляешься, видя его восставшим в каком-то львином могуществе... Читателям известно, какую важную роль играет в романе ледяная статуя, они живо помнят это энергическое лицо малороссиянина, так рез-

ко и могуче очерченное двумя-тремя штрихами, как будто невзначай наброшенными; помнят они и сцену обливания, в которой автор умел изобразить ужасное событие, не сделав его отвратительным. А «Соперники»? Вспомните этого хитрого политика Остермана в гостях у Бирона, эту беседу лисицы с волком, где лиса так искусно умеет недослышать, жалуясь на глухоту, и недоговорить, жалуясь на подагру в ноге. И вдруг входит рьяный Волынский, заводит шум в доме врага своего, ругает немцев и уступает дорогу доблестному Миниху, говоря ему:

– Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клеветуют. Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами и между тем откупивших себе тайною монополией, неизвестными народу услугами или страдальческим многотерпением право грабить, казнить и миловать нас, русских! Перескажите это, – примолвил Артемий Петрович, обратясь к Кульковскому, подслушавшему разговор; – если вам угодно, я повторю. – Но, – продолжал он, идя далее чрез залу, – пришлец в мое отечество, будь он хоть индеец и люби Россию, пригревшую его, питающую его своею грудью; служи ей благородно, по разуму и совести – не презирай хоть ее, – и я всегда признаю в нем своего собрата. Вы знаете, отдавал ли я искреннюю дань уважения Остерману, министру Петра Великого – не нынешнему, боже сохрани! – Брюсу и другим, им подобным?.. Презираю иностранца, ползающего перед каким-нибудь

козырным валетом, который, с помощью кровавых тузов, хочет выйти в короли; но менее ли достойна презрения эта русская челядь (он указал на толпу, стоявшую униженно около стен, опираясь на свои трости)? Посмотрите на эти подлые, согнутые в дугу фигуры, на эти выстрадавшие от ожидания лица... Скомандуйте им лечь наземь крыжом, по-польски; поверьте, они это мигом исполнят. Мало? – велите им сбить яблоко не только с головы сына... с младенца у груди жены и поманите их калачом, на котором золотыми буквами напишут – «милость Бирона», – и они целый пук стрел избудут, лишь бы попасть в заданную цель.

«Родины козы» не меньше этой превосходная глава. На родине козы, жены шута Педрилло, присутствует сама государыня, которая искала рассеяния от мучивших ее телесных и душевных страданий, – тут же были Бирон, Волынский и множество придворных. Вдруг являются Щурхов, Перокин и Сумин-Купшин, чтобы обличить злодея пред государынею и открыть ей глаза на истинное состояние России. Но благородный порыв остался бесплодным.

Зала опустела, и стало в ней так тихо, как в хижине поселянина, когда он со всею семьею своею отходит в поле. Остались только трое друзей, на ступенях трона, в прежнем положении, на коленях, опустив печально голову, и посреди сцены Волынский, прежний Волынский, во всем величии и красоте

благородного негодования, выросший, казалось, на несколько вершков, отрясая свои кудри, как гневный лев свою гриву, подняв нахмуренное чело и пламенные взоры к небу, последней защите отечеству против ее притеснителя. На постеле лежала еще бедная, связанная козочка, и подле нее, прикованная к кровати страхом, повивальная бабка, карлица, одетая по-козьему.

Наконец три друга встали, послав дружески-горестный взгляд кабинет-министру, с которым примирил их его благородный характер. Он подошел к ним. Все молча пожали друг другу руку.

Мысль, положение, слог – здесь все это согласно: высоко, глубоко и просто!

О главе «Ночное свидание» мы не будем распространяться и скажем только, что чисто романическая часть романа развита и оправдана в ней совершенно. Волынский тут является опять двусмысленным лицом, как и во всей истории своей любви; но Мариорица восстает тут со всем величием любящей женщины, для которой любовь есть цель и подвиг жизни. Конечно, ее любовь не есть идеал любви, она любила по-своему; ей не было нужды до мнений, верований ее милого; взаимный обмен мыслей и убеждений не был нужен для ее чувства, как масло для лампы; повторяем – она любила по-своему, но любила истинно и глубоко, потому что все принесла в жертву своему чувству и, кроме его, ничего не понимала и не видела в жизни. И после события в ледяном доме Мариорица умерла: больше ей незачем было жить,

потому что она взяла у жизни все, что только могла ей дать жизнь...

И вот моя дюпеневская карта кончена. Роман г. Лажечникова не представляет собою целого здания, части которого заранее вышли бы, в голове художника, из единой и общей идеи: в нем много пристроек, сделанных после. Но теплое, поэтическое чувство, которым проникнуто все сочинение, множество отдельных превосходных картин, прекрасных частных, основная мысль – все это делает «Ледяной дом» одним из самых замечательных явлений в русской литературе и, вместе с «Последним Новиком», украшает чело своего автора прекрасным поэтическим венком⁹.

Теперь о «Басурмане».

В этом романе автор вышел на совершенно новое для себя поприще, вступил в состязание с г. Загоскиным, как автором «Юрия Милославского», и г. Полевым, как автором «Клятвы при гробе господнем». История России перерезана Петром Великим на две части, столь не похожие одна на другую, что они представляют собою как бы два различных мира. Для двух первых своих романов г. Лажечников взял содержание из эпохи, начатой Петром; в третьем он решился перенестись своим воображением дальше и глубже, в эпоху,

⁹ Продолжая высоко ценить лиризм «Ледяного дома» и позднее, в 1840-е гг., Белинский, однако, в статье «Русская литература в 1843 году» писал, что автор «Ледяного дома» «не довольно отрешился от старого литературного направления – видеть поэзию вне действительности и украшать природу по произвольно задуманным идеалам» (наст. изд., т. 7).

где вся надежда на одну фантазию, где собственное свидетельство или рассказы отца, деда – невозможны. Признаемся, это было для нас не совсем добрым предвестием. Изобразить в романе Россию при Иоанне III совсем не то, что изобразить ее в истории: долг романиста – заглянуть в частную, домашнюю жизнь народа, показать, как в эту эпоху он и думал, и чувствовал, и пил, и ел, и спал. А какие у нас для этого факты... Где литература, где мемуары того времени?... Остаются летописи – но с ними далеко не уедешь, потому что они факты для истории, а не для романа. Но для художника достаточно одного факта, одного намека, чтобы живо представить себе полную картину жизни народа в известную эпоху. Так... но это *так* относится только к тому, кто оправдал делом свою мысль... Посмотрим, как оправдал ее г. Лажечников в новом своем романе.

Русская история есть неистощимый источник для романиста и драматика; многие думают напротив, но это потому, что они не понимают русской жизни и меряют ее немецким аршином. Как писатели XVIII века из русских *Малашек* делали *Меланий*, а русских пастухов заставляли состязаться в игре на свирелях в подражание эклогам Вергилия, – так и теперь многие наши романисты с русскою жизнью делают то же, что Вальтер Скотт делал с шотландскою. Везде есть герой, который и храбр, и красавец, и благороден, непременно влюблен и после – или, победивши все препятствия, женится на своей возлюбленной, или «смертию оканчивает жизнь

свою»¹⁰. А ведь никому не придет в голову представить лихого молодца, который сперва пламенно любил свою зазнобушку (что, впрочем, не мешало ему и колотить ее временем), а потом, обливаясь кровавыми слезами, бросил ее, чтобы жениться на богатой и пригожей, то есть румяной и дородной, но нисколько не любимой им девушке, и через то достигнуть цели своих пламеннейших желаний, а между тем сослужить службу царю-батюшке и обнаружить могучую душу. Как можно это? – нисколько не поэтически, хотя и совершенно в духе русской жизни, в которой любовь издревле была контрабандою и никогда не почиталась условием брака. Оттого-то у нас и нет еще ни одного истинно русского романа, и оттого-то героини почти всех наших романов лишены всякой силы характера, всякого индивидуального колорита. Русская жизнь до Петра Великого имела свои формы – поймите их и тогда увидите, что она заключает в себе, для романа и драмы, такие же богатые материалы, как и европейская¹¹. Да что го-

¹⁰ Белинский использует слова Хлестакова в передаче Анны Андреевны («Ревизор» Гоголя, д. V, явл. 7).

¹¹ Опровергая неверные представления о русской истории допетровского времени, Белинский критикует историческую и эстетическую позицию Надеждина, который «из тысячелетнего цикла нашей истории» вычеркивал целых восемь веков, «полную русскую историю» начинал только с Петра I и считал, что X–XVII вв. «представляют не роскошную жатву для русского исторического романа» («Телескоп», 1832, ч. X, № 14, с. 244, 246). С другой стороны, Белинский мог иметь в виду также П. П. Свиньина, который в предисловии к своему историческому роману «Шемякин суд, или Последнее междоусобие удельных князей русских» (М., 1832) декларировал невозможность создать исторический роман

ворить о романистах, когда и историки наши ищут в русской истории приложений к идеям Гизо о европейской цивилизации и первый период меряют норманнским футом, вместо русского аршина!..¹² Боже мой, а какие эпохи, какие лица! Да их стало бы несколькими Шекспирам и Вальтер Скоттам. Вот период до Ярослава – это период сказочный и полусказочный. Г-н Вельтман *первый* намекнул, как должна пользоваться им фантазия поэта¹³. Вот период уделов, период, в который великан-младенец, путем раздробления, разбрасывался в длину и ширину и захватывал себе побольше места на божьем свете, чтоб было где ему развернуться и поразгуляться, когда придет его время...

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота, океан-море!
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские!¹⁴

Вот период татарщины – этой внешней силы, которая

на материале древней русской истории (ч. I, с. 1).

¹² В данном случае подразумевается Н. Полевой, который в своей «Истории русского народа» начальный период русской истории связывал с норманнским завоеванием (т. I, М., 1829, гл. I).

¹³ Имеется в виду, очевидно, роман Вельтмана «Кощей Бессмертный» (1833). См. суждение о нем Белинского в «Литературных мечтаниях» (наст. изд., т. I, с. 119).

¹⁴ Зачин былины «Соловей Будимирович»; цитируется по сборнику «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым». М., 1818, с. 3.

должна была сдвинуть Русь, спаять ее ее же кровью, пробудив в ней чувство единоверия и единокровности... А характеры?.. Вот могучий Иоанн III, *первый* царь русский, замысливший идею единовластия и самодержавия, установивший придворный этикет, сокрушивший представителей издыхавшего удельничества и поставивший власть царскую наравне с волею божиею... Вот Иоанн IV, этот Петр I, не вовремя явившийся и грозой dokonчивший идею своего великого деда... Вот добрый Федор I, отшельник и постник на престоле... Вот хитрый, ловкий Годунов, жертва неудачной попытки попасть в великие... Вот удалец Димитрий... Вот Шуйский, низкий на престоле, гордый в падении... И чем дальше, тем жизнь кипит больше и больше, характеры толпятся – и, наконец, много ли было у Петра дней, из которых каждого не хватило бы на роман или драму?..

Г-н Лажечников, кажется, сам чувствовал невыгоду своего положения к избранной для своего романа эпохе, и потому герой его романа – немец. Не будем пересказывать содержания, тем более что оно, мы уверены, всякому известно. Действие романа не только двоится – троится даже. Оно начинается с темницы внука Иоанна, несчастного Димитрия, который к роману нисколько не относится. Впрочем, это одна только глава. Потом действие происходит в Богемии, оттуда идет в Италию, чтоб снова возвратиться в Богемию. Для сущности романа, оно тянется слишком долго и медленно и вообще роману, кроме обширности, ничего не придает. Ге-

рой романа – лицо совершенно бесцветное, бесхарактерное. Автор говорит нам, что Антон Эренштейн любил науку, был прекрасен, храбр, умен, великодушен, но сами мы ничего этого не видим и верим автору на слово. Он влюбляется в Анастасию, дочь боярина Образца, а она влюбляется в него, и любовь эта возбуждает в читателе слишком слабое участие. Если хотите, она описана очень, даже слишком подробно, но в этом описании нет этих резких типических черт, которые, по-видимому, ничего не показывая, все дают видеть, и еще так, что, посмотревши на них раз, никогда не забудешь. Конечно, тут есть черты, очень верно схваченные. Например: влюбленная Анастасия думает, что басурман сглазил, околдовал ее, и решается идти к нему просить его, чтобы он сожалелся над него – отворожил ее от себя. Черта прекрасная – бесспорно; но ведь это черта народная, общая, а в поэзии требуется, чтобы общие народные черты проявлялись в частных лицах, индивидах, а не были бы привязаны, или, лучше сказать, *навязаны* каким-то именам без лиц. Вообще, надо признаться, что все почти лица в новом романе г. Лажечникова как-то бесцветны, так что самые лучшие из них – силуэты, а не портреты. Знаменитый Аристотель Фиоравенте, архитектор, розмысл, литейщик и каменщик Иоанна III, говорит, как художник; но ему как-то не верится, в его словах видишь самого автора, а не лицо романа. Сын его, Андрюша, что-то такое, чего невозможно ни вообразить себе при чтении, ни вспомнить после чтения романа. Коли хотите, каж-

дое из этих лиц не противоречит самому себе, то есть говорит одно и то же, в словах не путается, да только все и ограничивается у них одними словами. Из лиц лучшие – боярин Образец и сын его, Хабар, особенно первый, с его патриархальностью, чистою жизнью и ненавистию к немцам. Очень удачно обрисован еще боярин Русалка.

Самая лучшая сторона в романе – историческая, а самое лучшее лицо – Иоанн III. Душа отдыхает и оживает, когда выходит на сцену этот могучий человек, с его гениальной мыслию, его железным характером, непреклонною волею, электрическим взором, от которого слабонервные женщины падали в обморок... В нем мы снова увидели сильный талант г. Лажечникова. Он глубоко верно понял идею Иоанна и верно очертил его характер. Софии, супруге Иоанна, немецкий посол подарил попугая, которого хитрая и честолюбивая царица и научила называть своего мужа *царем*.

– Видно, вещая птица, господине, – отвечал хитрый царедворец, подставляя к окну скамейку, а потом под ноги великого князя колодку, обитую золотом, и ковер. Все это исполнялось по движению глаз и посоха властителя, столь быстрому, что едва можно было за ними следовать. Но дворецкий и тут не плошал. Откуда взялась прыть у хилова старика, в котором, по видимому, едва душа держалась.

На полавочнике были вышиты львы, терзающие змея, а на антабасской (парчевой) колодке двуглавый орел. Эта новинка не избегла замечания великого

князя: черные очи его зажглись удовольствием. Долго любовался он державными зверями и птицею; и прежде нежели сел на скамейку и с бережью положил ногу на колодку, ласково сказал:

– И ты ныне, старый пес, видно, сговорился с Фоминишной потешить меня.

Дворецкий низко поклонился, охололив кулаком свою ощипанную, остроконечную бородку.

– Ох, ох, – продолжал великий князь, – легко припасти все эти царские снадобья, обкласть себя суконными львами и алтабасными орлами, заставить попугаев величать себя, чем душе угодно; да настоящим-то царем, словом и делом, быть не легко! Сам ведаешь, чего мне стоит возиться с реденькой. Засели за большой стол на больших местах, да и крохоборничают: и лжицы не дают, и ковшами обносят, а всё себе сидят, будто приросли к одним местам.

– Что ж, господине, коли чести не знают...

– Так по шапке, да из-за стола вон! Воистину так, пора. – Пускай себе кричат: «Греха не ставит, родных обирает, даст на том свете ответ!» Нет, не дам. Прежде, нежели я брат, дядя, шурин, я государь всея Руси. Когда явлюсь на страшный суд Христов, он наверно спросит меня: «Печаловался ли ты о земле русской, над которою я поставил тебя владыкою и отцом; соединил ли воедино, укрепил ли эту Русь, хилую, разрозненную, ободранную?» Вот что спросит он, а не то что: «Пил ли из одново ковша с братьями и сватьями, тешил ли их, гладил ли по головке за то, что они с своими и чужими

сосали кровь русскую!»

Иван Васильевич замолчал и посмотрел на дворецкова, как бы вызывая его на ответ.

Этот понял его и сказал с низким поклоном: «Пожалуй меня, господине, князь великой, своево слугу, молвить глупое слово».

– Молви умное, а за глупое скажу тебе дурака.

Опять поклон; Русалка приправил его следующей речью: «Вступающим в брак господь наказывает оставить отца своево и мать и прилепиться к жене. В такой же брак вступил и ты, государь всея Руси, приняв по рождению и от святительской руки в дому божьем благословение на царство. Приложение сделай сам, господине. Умнее на твою речь сказать не сумею: я не дяк и не грамотей».

– Грамота у тебя в голове, Михайло!.. Ладно...

Произнеся последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посох, и погрузился в глубокую думу. Так пробыл он несколько минут, в которые дворецкой не смел пошевелиться. Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел; нет, в них пролетел грозный дух брани. Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы.

Таким-то везде является у г. Лажечникова Иоанн III: ум глубокий, характер железный, но все это в формах простых и грубых.

Кроме того, описания приема послов, казней, политических операций Иоанна, разных русских обычаев того вре-

мени, составляют одну из блестящих сторон нового романа. Поэтических мест много; интерес везде поддержан. Не понимаем, для чего автор опять повел своих читателей в Богемию: роман кончился в Москве...

Заключая наш разбор уверением, что новый роман г. Лажечникова есть более, нежели приятный подарок для публики, обратимся к предмету, чуждому поэзии и самому прозаическому.

Мы хотим сказать слова два о новом, небывалом и до чрезвычайности странном правописании автора «Басурмана». Положим, что окончание прилагательных на *ова* и *ева*, вместо *аго*, *яго* и *его*, имеет свое основание и даже, когда к этому попривыкнуть, может быть принято всеми; что же касается до «может-быть», «можетстаться», «какскоро» и тому подобных – то мы не знаем, что и сказать об этом. Будь это принято всеми, тогда сбудется сказка о старухе, которая, заметив, что ее госпожа, колдунья, молодеет от какого-то эликсира, так несоразмернохватила его, что сделалась семилетним ребенком...

С нетерпением ожидаем «Колдуна на Сухаревой башне»: ¹⁵ в этом романе автор снова будет в своей сфере и напомним нам и «Новика» и «Ледяной дом». Кстати о нападении: пользуемся случаем напомнить, от лица публики, даровитому автору, что за ним есть должок – и очень большой: на 74

¹⁵ Отрывок из романа «Колдун на Сухаревой башне» появился в печати через два года («Отечественные записки», 1840, № 10).

стр. IV части «Ледяного дома» он обещал рассказать историю Линара и мужа Анны Леопольдовны, а на 75 про чудесную смерть С***вой и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде, под стеклянным колпаком, и пр.

Не легко отказаться от таких обещаний, и кому же будет писать, если писатели с таким талантом, как автор «Новика» и «Ледяного дома», будут оставаться только при обещаниях!

Примечания

Впервые – «Московский наблюдатель», 1839, ч. I, № 1, отд. IV «Критика», с. 1–26 (ц. р. 1 января; вып. в свет 21 января). Подпись: В. Белинский. Вошло в КСсБ, ч. III, с. 5–26.

Белинский придавал большое значение данной рецензии. Декларируя позднее свою «новую манеру» критических выступлений, в основе которой лежала ориентация на широкие круги читателей – не только на «знающих», но и на «незнающих», он с удовлетворением вспоминал о ней в письме Боткину от 3–10 февраля 1840 года: «Тебе жестоко не понравилась моя статья о Лажечникове в «Наблюдателе», вот такие-то статьи и буду писать. Их будут читать, и они будут полезны; а я чувствую, что совсем не автор *для не многих*».